



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ

ДЬЯВОЛ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Лев Толстой

Дьявол

«Издательство АСТ»

Толстой Л. Н.

Дьявол / Л. Н. Толстой — «Издательство АСТ»,

«Дьявол», «Записки сумасшедшего», «Власть тьмы»... В этот сборник вошли произведения разных лет, объединенные сложной темой борьбы добра и зла в человеческой душе — темой драматичной, печальной и всегда привлекавшей Толстого своей колоссальной психологической глубиной. Повесть «Дьявол» и рассказ «Записки сумасшедшего» Толстой категорически отказывался публиковать при жизни, поскольку они слишком тесно связаны с тяжелейшими душевными переживаниями писателя, едва не стоившими ему психического здоровья.

Содержание

Альберт	6
Поликушка	22
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Лев Николаевич Толстой

Дьявол

Серия «Эксклюзив: Русская классика»
Серийное оформление А. Фереа, Е. Фереа
Компьютерный дизайн В. Воронина

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Альберт

I

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неумоимо играли одну польку за другою, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что все это не то и ненужно.

Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услышал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

– Нельзя, там гости, – говорил женский голос.

– Пустите, пожалуйста, я ничего! – умолял слабый мужской голос.

– Да уж не пущу без позволения мадамы, – говорила женщина, – куда вы? ах какой!..

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны, над шершавыми нечищенными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаха высывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутые кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек, – сам не зная чему, – улыбнулся тоже.

– Кто это такой? – спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

– Помешанный музыкант из театра, – отвечала служанка. – Он иногда приходит к хозяйке.

– Куда ты ушел, Делесов? – кричали в это время из залы.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.

– Что же, идите и вы танцевать, – сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

– Идите, идите, – что ж, когда вас господа приглашают, – вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадрили веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего роста упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

– Господин Альберт! Господин Альберт! – говорила хозяйка, – что, ушиблись? Где? Вот я говорила, что не надо было танцевать. Он такой слабый! – продолжала она, обращаясь к гостям, – насилу ходит, где ему!

– Кто он такой? – спрашивали хозяйку.

– Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съезжился и оттолкнул окружающих его.

– Это все ничего, – вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали.

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

– Все ничего! – повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. – Господа, будем музицировать.

– Что за странное лицо! – говорили между собой гости.

– Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе! – сказал один из гостей.

– Да, жалкий, жалкий! – говорил другой.

– Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, – говорил Делесов, – вот посмотрим...

II

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пьянисту, приготовившемуся аккомпанировать.

– «*Melancholie G-dur*»¹ – сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пьянисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный

¹ «Меланхолию в тоне Ге-дур!»

или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно-согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полужакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал: *«mol, c-mol!»*² Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему делу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девушки в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал неприятное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и небе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений, первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он – не молодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платице, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала *она* в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени, одна

² «моль, це-моль!»

за другую, восставали перед ним, но не как незначашие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал, – плакал не оттого, что прошло то время, которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, – это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».

К концу последней варьации лицо Альберта сделалось красно, глаза горели, не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

III

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что все это значило. Что такое значит – светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

– А ведь он точно хорошо играет, – сказал офицер.

– Удивительно! – отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

– Однако пора ехать, господа, – сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. – Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту – вообще вырвать из этого грязного положения.

– Что, вы устали? – спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

– У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публичке.

– Я бы выпил чего-нибудь, – сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана.

– Какое славное вино! – сказал он.

– Меланхолия, какая прелестная вещь! – сказал Делесов.

– О! да, да, – отвечал, улыбаясь, Альберт, – но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? – Он помолчал немного. – Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

– Очень благодарю вас, – сказал Альберт, схватив деньги, – теперь давайте музицировать; я, сколько хотите, буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, – прибавил он, вставая.

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

– Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, – сказал Делесов, – ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

– Позвольте мне вам предложить свои услуги, – продолжал Делесов. – Ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один и, может быть, я был бы вам полезен.

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

– Что же вы не благодарите, – сказала хозяйка. – Разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала, – продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

– Очень вам благодарен, – сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова, – только теперь давайте музицировать, пожалуйста.

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» – подумал он.

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, взглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волосы, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решил сделать добро ему.

IV

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидал вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» – спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и торопясь надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной, изорванной рубашке, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его бесчувственного положили вчера вечером. Что-то не хорошо, невольно казалось Делесову.

– Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, – сказал он своему человеку, – да когда они проснутся, напой их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

– Где же он? – спросил он у человека.

– Тотчас после обеда ушли, – отвечал слуга, – взяли скрипку и ушли, обещались прийти через час, да вот до сей поры нету.

– Та! та! досадно, – проговорил Делесов. – Как же ты егопустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

– Как же я смел его не пустить, – отвечал Захар, играя печаткой своих часов. – Ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

– Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня?

Захар усмехнулся.

– Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком все занимались. Смешные такие... Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, все меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно, как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать.

– Ну, а одел ты его? – перебил барин.

– Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этому человеку можно помогать, точно, милый человек. – Захар улыбнулся. – Все спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

– Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

– Это правда, – перебил Захар, – он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик...

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее закончить Захару и, велев приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странным может показаться многим из моих знакомых, – думал Делесов, – но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить Бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет».

Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, – подумал он. – Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»

Он уже засыпал, когда звуки открываемых дверей и шагов в передней развлекли его.
«Ну, обращусь с ним поосторожнее, – подумал он, – это лучше; и я должен это сделать».

Он позвонил.

– Что, привел? – спросил он у вошедшего Захара.

– Жалкой человек, Дмитрий Иванович, – сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

– Что, пьян?

– Очень слаб.

– А скрипка с ним?

– Принес, хозяйка отдала.

– Ну, пожалуйста не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

V

– Вы уж спать хотите? – сказал Альберт, улыбаясь. – А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, – прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, – только не воды.

Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый, вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленный воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

– Вот это отлично, – сказал Альберт, – еще рано, будем музицировать, я вам буду играть, сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того, чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закулив сигару, сел в соседнюю комнату.

– Поговоримте лучше, – сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

– Ах да, – сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно-любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) – Позвольте спросить... – он приостановился немного, – этот господин, который был с вами там, вчера вечером... вы его называли N. он не сын знаменитого N.?

– Родной сын, – отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

– То-то, – самодовольно улыбаясь, сказал он, – я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, – спросил он, – он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN., кажется?

– Который? – спросил Делесов.

– Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должен быть человек.

– Нет, он пустой малый, – отвечал Делесов.

– Ах, нет! – горячо заступился Альберт, – в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, – прибавил Альберт, – он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

– Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, – сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке, – он классической музыки не понимает; а ведь Доницетти и Беллини – ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

– О нет, нет, извините меня, – заговорил Альберт с мягким заступническим выражением, – старая музыка – музыка, и новая музыка – музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а Сомнамбула?! а финал Лючии?! а Chopin?! а Роберт?! Я часто думаю... – он приостановился, видимо собирая мысли, – что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая Сомнамбулу. Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз Сомнамбулу, когда здесь были Виардо и Рубини, – это было вот что, – сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. – Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

– Ну, а теперь как вы находите оперу? – спросил Делесов.

– Бозио хороша, очень хороша, – отвечал он, – изящна необыкновенно, но тут не трогает, – сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. – Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радуется, но не мучает.

– Ну, а Лаблаш?

– Я его слышал еще в Париже в Севильском цирюльнике; тогда он был единствен, а теперь он стар, – он не может быть артистом, он стар.

– Что ж, что стар, все-таки хорош в *могсеах d'ensemble*³, – сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

– Как что же, что стар? – возразил Альберт строго. – Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное – огонь! – сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

– Ах Боже мой! – сказал он вдруг, – вы не знаете Петрова – художника?

– Нет, не знаю, – улыбаясь отвечал Делесов.

– Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант.

– Что ж, он картины пишет? – спросил Делесов.

– Не знаю; нет, кажется, но он был художник академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, – улыбаясь прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

– Что, вы давно не были в опере? – спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

– Ах, я уж не могу, – сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. – Я вам скажу, – проговорил он почти шепотом, – я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь! скверная жизнь! – повторял он несколько раз. – Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, – сказал он, улыбаясь. – Ах, «Дон Жуан»!

И он ударил себя по голове.

³ ансамблях (фр.).

– Так поедem когда-нибудь вместе, – сказал Делесов.

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

– Нет, не могу играть нынче, – сказал он, кладя скрипку, – я много пил.

Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

– Вы были влюблены? – вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.

– Зачем вы это спросили у меня? – проговорил он шепотом. – Но я вам все расскажу, вы мне понравились, – продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. – Я не буду вас обманывать, я вам расскажу все, как было, сначала. – Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. – Вы знаете, что я слаб рассудком, – сказал он вдруг. – Да, да, – продолжал он, – Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я точно не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

– Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, – прошептал он, поднимая брови. – Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

– Нет, зачем называть ее, – сказал он. – Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался припоминая.

– Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, бедный артист! – сказал он, покачивая головой и улыбаясь. – Но нет, я не умею рассказывать, не умею... – прибавил он, схватившись за голову. – Как я был счастлив!

– Что же, вы часто были у нее? – спросил Делесов.

– Один раз, один раз только... но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре...

– Что же вы сделали? – спросил Делесов.

– Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого.

И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

– Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг

я увидел, что я не в оркестре, а в ложе стою с ней и держу ее за руку за это место. Что это такое? – спросил Альберт, помолчав.

– Это живость воображения, – сказал Делесов.

– Нет, нет... да я не умею рассказывать, – сморщившись отвечал Альберт. – Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было, и, когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

– Как? в театре? в темной пустой зале?

– Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходили, я шел к тому бенуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. – Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. – Что это такое? – спросил он.

– Странно! – сказал Делесов.

– Нет, постойте, постойте! – Он на ухо шепотом продолжал: – Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, – сказал он, любезно улыбаясь и дотрагиваясь рукою до лба, – за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,
Die Sonne bleibt doch ewig klar⁴,

пропел Альберт, тихо улыбаясь. – Не правда ли? – прибавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen⁵.

– Ах! старик Петров как бы все это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

– Вы знаете «Юристен-вальцер»? – вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

– Э, будет веселиться! – сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

– Я пойду, – сказал он, молча посидев немного, – а вы не пойдете?

– Куда? – с удивлением спросил Делесов.

– Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.

– Я бы на минуту.

– Право не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

– Так остаться?

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

⁴ Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим (нем.).

⁵ И я жил и наслаждался (нем.).

– Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, – сказал он Захару.

VI

На другой день был праздник. Делесов проснувшись сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

– Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей-богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтение и кашель.

Захар снова пришел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта.

– Ну, что? – спросил барин у Захара, когда он вышел.

– Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить.

– Нет, уж если взялся, надо выдержать характер, – сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плевание. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решился заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.

– Если бы можно рюмочку простой водки, – сказал он с просящим выражением, – я так слаб... пожалуйста!

– Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение; он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустил на стул.

– Или позавтракать не хотите ли?

– Нет, благодарю, не имею аппетита.

– Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, – сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

– Нет; я слишком слаб, я не могу играть, – сказал он и отодвинул от себя инструмент.

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большие, чем утром.

– Что, вы обедали, господин Альберт? – спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

– Я говорил нынче о вас директору, – сказал он, тоже опуская глаза. – Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

– Благодарю, я не могу играть, – проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что ж мне еще делать? в чем я виноват?» – подумал он.

– Ну, что музыкант? – был первый вопрос его, когда он поздно воротился домой.

– Плох! – коротко и звучно отвечал Захар. – Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик...

– А на скрипке не играет?

– Не дотрогивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два, – так возьмет ее потихоньку и вынесет, – отвечал Захар с улыбкой. – Так пить не прикажете давать?

– Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

– Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое Евангелие.

– Положи это завтра ему в комнату, да смотри, не выпускай, – сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все, по его старанию, было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе.

– Ну, бог с ним совсем! – отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. – Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет – так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог.

«Вот делай добро людям! – думал он сам с собой. – Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное – сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все (это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...»

«Нет, это был детский поступок, – решил сам с собою Делесов. – Куда мне браться других исправлять, когда только дай бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться...

– Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, – говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар в ночном костюме стоял против двери, Альберт в шляпе и альмавиве отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него.

– Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

– Позвольте, Дмитрий Иванович! – обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. – Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

– Не может меня никто держать! не имеет права! – кричал он, все больше и больше возвышая голос.

– Отойди, Захар, – сказал Делесов. – Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, – обратился он к Альберту.

– Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! – все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. – Караул! – вдруг завопил он неистовым голосом.

– Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, – сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» – бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.

– И слава богу, Дмитрий Иванович! А то долго ли до греха, – сказал он барину, – и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? – подумал он. – Без денег, без теплого платья, один посреди ночи...» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

– А холодно на дворе? – спросил Делесов.

– Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, – отвечал Захар. – Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

– А как же ты говорил, что останутся?

VII

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, – так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» – сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова, и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал. Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему.

Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидел перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно.

В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее вырастало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» – подумал Альберт; но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг его молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» – спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий, худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» – подумал Альберт. «Нет, братья!» – говорил Петров, указывая на кого-то. – «Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неопценным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

– «Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, – продолжал голос, – но он исполнил все то, что было вложено в него Богом; за то он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, – продолжал голос громче и громче, – а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно – красоту, единственно-несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» – закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, – говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. – Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища-артиста и заложил ее?... («Боже мой! как он это все знает!» – подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? – продолжал Делесов. – Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» («Боже мой! это все правда, но заступись за меня, – проговорил Альберт, – Ты один знаешь, почему я это делал».)

– «Перестаньте, стыдитесь, – заговорил опять голос Петрова. – Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги?» («Правда, правда!» – шептал Альберт.) Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится, и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшие все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели».

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

– «Не до вас это дело, – строго обратился к нему художник Петров. – Да, унижайте, презирайте его, – продолжал он, – а из всех нас он лучший и счастливейший!»

Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его.

– «Убирайся, я тебя не знаю, – отвечал Петров, – проходи своей дорогой, а то не дойдешь...»

– Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, – прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок. До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! – прокричала она, – не велено пускать», и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» – невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест и благовест этот говорил: да, он лучший и счастливейший. «Но пойду опять в залу, – подумал Альберт. – Петров еще много, много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышении стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди, для того чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слышал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «да», говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то, «он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте».

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышении так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидел женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» – спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», – сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидел луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде – и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» – спросил он себя. Но нет! Это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не вернется. «О чем же я плачу?» – спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», – проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив», – с ужасом подумал он. «Боже мой! да я жив, поймите меня», – шептал он.

«Он лучший и счастливейший», – говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы, – он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится.

Двое гостей, выходявшие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

– Ведь это безбожно, – сказал он, – вы могли этак заморозить человека.

– Ах, уж этот мне Альберт, – вот где сидит, – отвечала хозяйка. – Аннушка! положите его где-нибудь в комнате, – обратилась она к служанке.

– Да я жив, зачем же хоронить меня? – бормотал Альберт, в то время как его бесчувственного вносили в комнаты.

28 февраля 1858

Поликушка

I

– Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти, – говорил приказчик, – и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой неидущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «хорошо, хорошо» на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были несомненно назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшего в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», говорила она с чувством. – «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», – вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович устался спокойно, даже прислонился незаметно к притолоке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крикнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время как член оппозиции громил министерство, и вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

– Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до Покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все

равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, все в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности как о своей забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

– Да я и не думаю, Егор, – прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

– ... А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необстоятельности, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала, – не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он верно реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

– Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов? – сказала она, – я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликея я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал, и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» – подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно быть с горечью», – подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей, и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

– Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

– Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не Бог: «Ну да все равно, не в том дело», – подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила, – она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

– Что ты, Дуняша?

– Мужик пришел, велел спросить у Егора Михалыча, прикажут ли дожидаться сходке? – сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик! – подумала она, – растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

– Так поди, Егор, – сказала барыня, – делай, как лучше.

– Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

– Петруша разве не приезжал из города?

– Никак нет-с.

– А Николай не может ли съездить?

– Тятенька от поясицы лежит, – сказала Дуняша.

– Не прикажете ли мне самому завтра съездить? – спросил приказчик.

– Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

– 462 рубля-с.

– Поликея пошли, – сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

– Слушаю-с.

– Пошли его ко мне.

– Слушаю-с, – и Егор Михайлович пошел в контору.

II

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и угол у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. Углы еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, телянок, и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим – взлезая на печку, где было до 40 градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать – не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а

не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, – все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и не трудно все достается, и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за все разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему Бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставлял, и все шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все наыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, – говорит, – человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять», – рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о Боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

– Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

– Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! – говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома как теленок ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала не веселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спускать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом, под брюхом дворниковой лошади, передернул покровку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь, что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, – мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю* и т. п., разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? *Wage du zu irren und zu träumen!*⁶ – это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его несомненно первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это, – говорил он, – не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», – сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания; но увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» – подумала она и опять принялась прясть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

– Анютка, – крикнула она, – видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

– Натё, тятенька, – сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

– Сто толкается, – пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

– Я вас! – проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

– Три целковых даст, – проговорил Поликей, затыкая бутылку, – вылечу лошадь. Еще дешево, – прибавил он. – Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

⁶ Дерзай заблуждаться и мечтать! (нем.)

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла, не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак, и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа, и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка – так звали девочку – всегда летала как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

– Барыня велела Поликею Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупку ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обыкновенною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

– Ильич, рубаху переменять не станешь?

– Не, – сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко-несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

– Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? – раздался голос столяровой жены из-за перегородки.

Столярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней разлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

– Должно быть, в город за покупками хотят послать, – продолжала она. – Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столяровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

– Мамуска, ты меня сплющила, – проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

– Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! – прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столярной жене, не забывшей еще про утренний шелок.

IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал, Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столярной жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

– Ну что? Зачем звала?

– Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

– Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

– К купцу за деньгами велела ехать.

– Деньги везть? – спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

– Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечаньи, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит; вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как Богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу все изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

– И много денег? – спросила еще Акулина.

– Три полтысячи рублей, – небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

– Когда ехать?

– Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь, какую хочешь, зайди в контору и ступай с Богом.

– Слава тебе, Господи! – сказала Акулина, вставая и крестясь. – Помоги тебе Бог, Ильич, – прибавила она шепотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. – Ильич, слушай меня, Христом Богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

– А то пить стану, с такими деньгами ехамши! – фыркнул он. – Уж как там в фортепьян играл кто-то, ловко, беда! – прибавил он, помолчав и усмехаясь. – Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

V

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса, и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику, – думала она, – по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и нападал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его бы сравнивали с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова; но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен, и со всей высоты своего роста, всею силой звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один, с добродушной рожей и окладистою русою бородой, Храпков, все приговаривавший: «друг ты мой любезный», и другой маленький, с птичьей рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «выходит, братцы мои», обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же,

но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, Бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладывать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцево-лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывая на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

– Так-то и мой дед в солдатах был, – говорил Резун, – так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрили, а его дядя еще домой не приходил.

– У тебя ни отец, ни дядя царю не служили, – в одно и то же время говорил Дутлов, – да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделались. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно, да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по Божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбредет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

– Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

– То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она може велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот-те и закон, – сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: – Вот так, так! – и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о *своих* делах, и болтуны не забывали своей должности.

– И точно, мир православный, – говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова, – надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

– Надо по совести судить, друг ты мой любезный, – говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп, – на то господская воля была, а не мирское решение.

– Верно! Вон оно что! – говорили другие.

– Кто пьяный бредет? – возражал Резун. – Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решение сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

– Дутлову идти! Что говорить!

– Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать, – заговорили голоса.

– Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели, – сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро опять он загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе, и стал спрашивать:

– Кто украл?

– Ты украл, – смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

– Кто украл? не ты ли? – кричал Резун.

– Нет, ты! – кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденной лошади, до мешков с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

– Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? – слышались голоса деленых, и болтуны пристали к этим голосам.

– А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! – сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков. – Ты мои деньги считал, видно, – проговорил он злобно. – Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу, затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке, и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

– Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

– Известно! Это дело! – сказали голоса.

– По моему суждению, – продолжал Егор Михайлович, – Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти, – это уж сам Бог велел.

– Так точно, верно, – сказали голоса.

- Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?
- Дутлову, – заговорили голоса, – Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу – начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

- Мой что ль? Покажь сюда, – сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.

– Жалко мне тебя, старик, – сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, – на тебе черед. Не купишь за племянника, или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

– Не миновать, – ответил Егор Михайлович на его взгляд.

– И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

– Эх, старый, не грехи! – сказал он, – а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

– В губернии? – спросил Дутлов, под губерней разумея город.

– Что ж, купишь?

– И рад бы, вот перед Богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

– Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришло, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели чтоб, избави Бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

– Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно, – сказал он, помолчав, – как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? – заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

– Ну, ступай, ступай, – сказал Егор Михайлович, – ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигера» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик ездил), запряженная ширококостым гнедым мерином, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупной и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую капавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В угле происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть про-

бывался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стряпню в печи, и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери, – Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе – той иголок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку и сахарцу столярной жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке, и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, – кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и *тухли*, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатали. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «пlockали и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, посадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесyтерился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа, изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, – он едет теперь получать сумму денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик тор-

гует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, не от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда Бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поровнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то что у него были деньги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпрег, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, тапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее, и наконец со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублей уступил», – сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал острые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и шупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, оскрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно, – так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

VIII

Около полуночи и купцовы работники, и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

– Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? – спросил староста.

– Ужинать, – отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке. – Посылай за водкой.

– Будет те водки-то, – отвечал староста мельком и снова обратился к другим: – Так хлебца закусите, ребята. Что народ будить?

– Водки дай, – повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». – Вдруг он увидал Поликея: – Ильяч, а, Ильяч! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты уехали. Поставь водки.

– Денег нет, – отвечал Поликей. – Еще, Бог даст, затылок, – прибавил Поликей, утешая.

– Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился.

– Нет, Ильяч, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за что погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

– Да что же вас так рано привезли? – спросил Поликей, – то ничего не слышать было, а то вдруг...

– Вишь, бояться, чтоб я над собой чего не сделал, – отвечал Илюшка, улыбаясь. – Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? – говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхав шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

– Афанасий, – сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, – нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за пояс, и армяк акуратно подпоясан; точно он с обозом приехал; так обычно просто, мирно и озабочено хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

– Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

– Какое теперь вино? – отвечал староста, – видишь, люди поели да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

– Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

– Хоть бы ты его урезонил, – обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнованием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

– Вина дай, беду наделаю.

– Брось, Илья! – сказал староста кротко, – право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

– Не хотите слушать, вот вам! – и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясавшись, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатыми кулаками к Дутлову.

– Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты, с своими сыновьями разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него:

– Братнину кровь пьешь, кровопийца.

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед:

– Не хотел добром, – проговорил он и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился, – встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

– Говорил, хуже будет, – сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясok рубахи, – что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк, – прибавил он, обращаясь к дворнику, – а то голова затечет, – и сам взял фонарь, подпоясавшись веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутой рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

– Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже жена-тый; не миновать видно.

– От злодея дяди погибаю, – повторил Илья с сухой злобой. – Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?... Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

– Разве не жалко? Брата родного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним издедали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

– Ох, малый хорош! – сказал староста.

– Да мочи моей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

– Присылай-ка, ладно, – сказал староста, встал и полез на печку. – Что деньги? Деньги прах.

– Были бы деньги, кто бы пожалел? – проговорил купеческий работник, поднимая голову.

– Эх, деньги, деньги! Много греха от них, – отозвался Дутлов. – Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано.

– Все сказано, – повторил дворник. – Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собой в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что должно в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

– Известно, греха много, – сказал Дутлов, встал и начал молиться Богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запретил его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его, да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха, мороз пробежал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? – думал он, – еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навynos выскакал в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопki письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигер», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...» а может и пять, а может и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а може и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнулся еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрее, еще быстрее, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

– Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! – заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнался удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем, – должен был думать Барабан. – Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

– Ну, ты, одер чертовский! – сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

X

Целый день этот никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал, или что с лошадьёю что-нибудь случилось. «Не захромала ли? – говорила она, – прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя, – но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность, хоть поочередно, выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома в одних платьях делать круги с усиленною быстротою, чем не мало стесняли всех жителей *флигеря*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «не приезжал ли Поликей, и где он может быть?» улыбнулся, отвечая: «не могу знать», и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать», – сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал, – говорил этот человек, – что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь, все прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна, и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи, и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлеба вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея все не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издалека было и слышно, и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печеньем лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом, розовом, ситцевом, не мытом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тятенька плехали», – завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Аку-

лина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну, вас! всех перепорю!» и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен, и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобрать.

– Что, Ильич, благополучно? – спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

– Ась? – крикнула она. – Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

– А, Ильич? Что долго? – раздался голос Акулины.

– Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! – сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

– Что ты, Ильич, как будто не по себе? – сказала Акулина.

– Не спал, – отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновение, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.